Yuli Shreider, interview with Philip Boobbyer, Moscow, April 1996, transcript in Russian and summary in English

Часть 1

ЮШ: [...] но ведь я человек старшего поколения, и я формировался еще в сталинские годы...

ФБ: Это всё в порядке, да.

ЮШ: …И мое понимание менялось. И, скажем, то, каким я был в сталинские годы, мне самому страшно, хотя, может быть, это был единственный способ остаться целым. У меня были понятия о добре и зле, о том, что есть вещи, которые не следует делать, но тем не менее я был под властью идеологической пропаганды, чтения книг, школьного воспитания... И мне казалось, что этические принципы добротные, которые, скажем, есть у Льва Толстого или Достоевского, они соответствуют тому, что происходит, только мы часто не понимаем, что есть там *ошибки*, которые происходят. Скажем, мой отец был арестован в 38-м году. Я был уверен, что он не виноват; мать меня в этом поддерживала.

ФБ: Какое было обвинение?

ЮШ: Обвинение – враг народа; это было общее – вредительство.

ФБ: Чем он занимался?

ЮШ: Он был главным инженером завода.

ФБ: Расскажите немного о родителях: их жизнь, откуда они происходили, их ценности, жизнь дома...

ЮШ: Тут так: отец родился в семье интеллигентной, его отец – мой дед – был инженером, причем инженером, который держал свою контору инженерную в городе Екатеринославе ныне Днепропетровск, на Украине. Где-то в 18-м или 19-м году он прекратил работу. Он понял, что он ничего делать не может. И, по-видимому, его отношение, как я сейчас могу понять, было совершенно однозначным к происходящему. Но он понимал, что ему в этой жизни делать нечего. И вот семья деда как-то была для меня источником каких-то общечеловеческих ценностей. Это была семья уже нерелигиозная. Прадед был еще религиозный еврей. Дед был человеком вполне русифицированным и ушедшим из еврейской традиции, но не пришедшим в христианскую.

Мать была из другой семьи. Мать жила долго, она умерла только в прошлом году в возрасте почти девяноста лет; она не дожила до девяноста три месяца. И я, [разбирая] бумаги, нашёл справку, которая была выдана её отцу, что он служил курьером, в каком-то органе советской власти. Курьер, Вы понимаете, что это такое? Это мальчик, который разносит бумаги. А здесь речь шла о семидесятилетнем или шестидесятилетнем старике, который служил курьером. И эту бумагу она тщательно

хранила. Я только сейчас понял, почему эта бумага обладала ценностью. Она означала, что у отца было пролетарское происхождение. На самом деле он был учителем, и это тщательно скрывалось. Говорилось, что он там курьер, писарь, но не то, что он учитель. Учитель – это значит человек уже непригодный при Советском [режиме]. А то, что он был пролетарского происхождения, фиктивно, – он умер после этого быстро – дало возможность матери поступить в учебное заведение. И она как-то с этим срослась. Вы понимаете, чем дело, её позиция была очень характерна для того поколения. Она приняла декларируемые идеалы – равенство, национальную дружбу, общие права – как реальность, которая, правда нарушается плохими людьми. Вот в этой прекрасной системе есть плохие люди. А есть добрый царь – Сталин, политбюро или что-то такое... И поэтому, хотя она понимала безобразие, которое происходит, она сделала ставку на этот режим. Она в него верила, и в этом воспитывала меня; и некоторое время я так и думал.

ФБ: Она принадлежала к партии?

ЮШ: Да. И я тоже в 56-м году вступил в партию, при Хрущеве, когда мне показалось, что как-то всё идет к лучшему. Кстати, именно тогда я осознал многое из происходящего, глубинно. Я видел многое, естественно, но я понимал это, как некоторое несовершенство мира: вот, есть прекрасная идея, но несовершенным образом реализуется.

ФБ: В каком году Вы родились?

ЮШ: В 27-м.

ФБ: Вы можете рассказать немного о жизни в школьные годы, как это было для Вас? Это было в Москве?

ЮШ: Я и родился в Екатеринославе – Днепропетровске. Потом отец переехал в Брянск. Там я учился в школе. Потом переехали в Москву. Отца тут же посадили, а меня отправили к родственникам, в город Керчь. За это время мама сумела в Москве найти себе работу или что-то... Кстати, то, что он переехал в Москву, спасло мать и меня, потому что если бы мы остались на старом месте, то нормальным было бы, чтобы нас выслали тоже. Я мог оказаться в детском доме и так далее... Это я понимаю сейчас, но мне в жизни вообще очень крупно везло: я прошёл рядом с очень серьёзными опасностями, но как-то Господь берёг. Вот в частности, я уцелел *тогда*. Потом приехал в 39-м году – опять вернулся в Москву – там учился в школе. Затем я, перед войной, сократил школьное обучение, перепрыгнул из 6-го класса в 7-й, а потом сдал за 8-й и 9-й заочно. И поэтому война меня застала учеником 10 класса, и я закончил школу уже на Урале, в эвакуации. И там поступил в институт. Это тоже было везение, потому что во время войны анкетные [данные представляли меньше препятствий]. Вероятно, перед войной я в институт поступить бы не мог, как сын арестованного отца, а там поступил. И это способствовало моему убеждению, что система, в общем, справедливая, что отец – враг народа, а сына берут в институт... В 43-м году я уже из провинциального института приехал в Московский Университет, окончил его. И тоже

повезло: в 46-м году мне удалось поступить в аспирантуру, а в 47-м году люди с такой биографией уже не могли поступить. То есть на один год [разница].

ФБ: Значит, несмотря на то, что случилось с Вашим отцом, вы верили в светлое будущее, можно сказать?

ЮШ: Да, даже в то, что у нас справедливый строй. Этому способствовало многое: во-первых, война, которая создавала ощущение правоты – мы дрались фашистами. То, что происходило реально на фронте, я не знал.

ФБ: Но не было, например, у вас дома культуры отличной от культуры общественной? Часто у людей было так...

ЮШ: Нет, пожалуй, у нас не было такого противоречия. Дома была культура [основанная на] русской литературе, так сказать, все эти понимания, что такое хорошо... Я знаю, что мать в жизни вела себя очень достойно по отношению к людям, её любили. Она была учительницей, к ней ходили ученики всегда, она многим помогала. И вот такой принцип, что надо помогать людям, он всегда в доме был. Но он не казался противоречащим общему принципу. Казалось наоборот, что вот люди, которые ведут себя дурно, они противоречат. Понимаете, я не хочу [казаться] умнее, чем я есть – я не осознавал реальность.

ФБ: Нет, но это важно. Может быть [это] связано с чувством совести? Взирая назад, были ли какие-то моменты в тот период, до института, которые были важными?

ЮШ: Мне трудно сказать. Были моменты, когда я вдруг ощущал, что что-то несправедливо. Вот один урок мне дала мама, я могу рассказать. При мне к ней пришли подписывать петицию о закрытии церкви. Она отказалась подписывать, но нашла причину, которая была как бы удобной. Я не знаю, может быть она всерьёз так думала... Наверное, она говорила правду, она сказала: «Мне, как еврейке, нехорошо подписывать петицию о закрытии православной церкви». Вот это был образец такого, благородного поведения. Вот такое.

Я помню такую вещь, которая меня очень резанула. Он нас была в университете слепая девушка. Потом выяснилось, что её выгнали из университета, потому что она была в оккупации и там пела в немецких госпиталях. И у меня как-то возникла идея, что это несправедливо, потому что она же слепая, она же должна зарабатывать себе на жизнь... И вот было ощущение какой-то несправедливости, явной.

ФБ: Влияние еврейства дома – это было религиозное влияние?

ЮШ: Нет, его не было. У нас семья была такая, секуляризированная вполне.

ФБ: Так Вы ничего не получили, можно сказать, от еврейства?

ЮШ: Нет, от еврейства – ничего. Разве что некоторую, так сказать, бытовую мораль, но это, наверное, общеинтеллигентская мораль.

ФБ: Вы поступили в институт, это был, еще раз, какой [год]?

ЮШ: Значит, я поступил в эвакуации в педагогический институт в 42-м году, а потом через год мне удалось поступить уже в Москве, в университет. Я окончил математический факультет Московского [Государственного] Университета. Более того, в 46-м году меня оставили в аспирантуре. Для меня было это ощущением, что вот, всё-таки [удается]… И я знаю, как меня не хотели брать из-за анкеты, из-за арестованного отца, но один из профессоров крупных пошёл в министерство и добился, чтобы меня взяли.

ФБ: Как я понимаю, эти годы сразу после войны были чуть свободнее?

ЮШ: Сама *война* была свободной и 45-46-й годы. А потом началось... Вот этот доклад Жданова чудовищный, для меня это было непонятно, как можно вот так уничтожать писателей..?

ФБ: Это связано с журналами?

ЮШ: Да, с журналами *Звезда* и *Ленинград*. Это был очень неприятный факт.

ФБ: И как Вы оценили эти вещи?

ЮШ: Я эмоционально воспринимал это, как дурную вещь, но додумывать я не стал. Я думаю, что это было единственное спасение – не задумываться.

ФБ: Это Вы в то время так думали?

ЮШ: Нет, нет, я так не думал, это я сейчас понимаю, что это был инстинкт самосохранения.

ФБ: Подсознательный инстинкт – не задумываться?

ЮШ: Подсознательно, да. Я думаю, что это меня спасло, потому что, если бы я начал думать, тогда, то меня бы уже не было.

ФБ: Среди математиков не было разговоров о ценностях, о значении жизни или просто не было времени для таких разговоров?

ЮШ: Я думаю, что таких разговоров не было, но Вы знаете, наука сама учит ценностям, что вот есть истина, которая доказывается... Наука является некоторым, в известных пределах, учителем нравственности, [может быть] недостаточным, но когда ничего другого нет, то, скажем, честное занятие наукой – это что-то.

ФБ: Да, это уже что-то.

ЮШ: Да. Потом уже позже, когда я стал размышлять всерьез где-то уже в начале 60-х годов, у меня появились гуманитарные знакомые, где-то в начале 60-х годов я познакомился с Надеждой Яковлевной Мандельштам, с Шаламовым Варламом

Тихоновичем, Вы знаете, кто это... Тогда я начал уже думать серьез, и моё размышление началось вот с чего: я понял, что вот эта ссылка марксизма на научность, она недостаточна, потому что наука не может доказывать фундаментальные истины. В науке есть понятие честности, есть понятие, так сказать, ответственности за истину, но глубинные истины наукой не обосновываются, поэтому вся эта ссылка на научность марксизма – это плохо. Тогда начался мой интерес к христианству...

ФБ: Это было в Москве?

ЮШ: В Москве.

ФБ: В участвовали в каких-то кружках?

ЮШ: В кружках – нет. Я просто бывал у Надежды Яковлевны Мандельштам, бывал у Шаламова, какие-то мы получали самиздатские произведения, когда они пошли – это первое что я видел. Моя тёща, мать моей [жены], она – писательница, может Вы слышали такую фамилию Ирина Грекова (И. Грекова)? Вот у нее были такие писательские знакомства, через которые она что-то получала, хотя сама она была доктор технических наук и работала в области вооружений.

ФБ: Чем Вы занимались после аспирантуры?

ЮШ: После аспирантуры был первый шок, что я не могу попасть на работу.

ФБ: Из-за..?

ЮШ: Я думаю, что из-за отца и из-за еврейства тоже. Я очень хотел заниматься физикой, но тут ничего не вышло. Случайно я попал в место, где занимались вычислительной техникой. Я начал очень успешно заниматься, но через полгода меня выгнали. Опять произошло чудо – меня взяли на работу в технический вуз преподавать математику. Это был один [шанс] из ста. Но у меня был хороший отзыв академика Колмогорова. Там был директор, более менее самостоятельный, его брат был член ЦК, и поэтому он себе позволял немножко больше. У меня [опять] было ощущение, что вот же меня взяли всё-таки – я год был безработный, но потом меня взяли на работу. И я опять же, так сказать, тихонько сидел, занимался всем и никаким диссидентом вообще-то я не был. У меня даже темперамент не такой. Я просто размышлял. И вот итоги моих размышлений появились в статье, которую я написал для *Нового Мира* «Наука – источник знаний и суеверий», Science as a Source of Knowledge and Superstitions (Анг.) Статья имела успех. Я через 20-30 лет вдруг встречался с людьми, которые эту статью хорошо помнили, и оказалось, что она на них повлияла.

ФБ: Это было в начале 60-х годов?

ЮШ: Это было опубликовано в 69-м. Ну писал я, естественно, думал про это где-то уже с середины 60-х.

ФБ: Расскажите немного о вступлении в партию, это было в порядке [вещей], Вы верили в это?

ЮШ: Да, Вы знаете, это было такое ощущение. Поскольку я абсолютно был уверен, что ничего другого у нас невозможно, а тут с Хрущёвым были связаны некоторые надежды, то вступление в партию для меня означало просто как бы восстановление в гражданских правах. Это ошибка. Это неправильно. Правильно было бы не вступать.

ФБ: В то время такого чувства не было.

ЮШ: Вот я хорошо помню, когда мне 42-м году предложили вступить в комсомол. Я это воспринял так: мне разрешили быть, как все. Проблемы верю или не верю тут не стояло, но я – изгой – человек, скажем, находящийся в категории преследуемых вдруг, так сказать, нормализовался.

ФБ: Да, да. Это было то же чувство как и то, когда Вы вступили в партию?

ЮШ: Примерно так же. Но дело в том, что тогда мне ощущение равенства дал доклад Хрущева, и вся эта 'улучшающаяся обстановка' – это было как бы подтверждение.

ФБ: Речь Хрущева была после того, как Вы вступили в партию?

ЮШ: Ну уже что-то было, уже мы всё это чувствовали... Понимаете, до этого вообще меня бы никто не стал принимать. А тут как-то мне друзья посоветовали, что сейчас можно... Это была моя глупость и наивность. Мне было все-таки почти 30 лет. Главное, мне это не нужно было для карьеры, тогда я уже защитил диссертацию, я имел уже хорошую работу...

ФБ: Были ли у Вас в 50-е годы какие-то кризисы совести, какие-то внутренние проблемы, которые были особенно трудны?

ЮШ: Нет, нет, потому что у меня проблемы были как честно относиться к работе. Ну не знаю, проблемы совести были: скажем, когда я ухаживал за девушкой, а потом хотел удрать. Это была проблема совести, но она не...

ФБ: На другом уровне.

ЮШ: Да (смеётся).

ФБ: Но это тоже важно. Для моей темы лучше как бы говорить о совести, связанной с системой, но для большинства людей, я думаю, что совесть вообще проявляется на другом уровне.

ЮШ: Да. Ну вот совесть была связана с честным отношением к девушкам, с которыми имел дело. Иногда я чувствовал, что поступаю нехорошо. Не то, что этого было много, но вот такое бывало.

ФБ: И это чувство, откуда оно появилось? Это просто часть Вашей природы, что какая-то здесь нечестность или это было как бы влияние матери..?

ЮШ: Ну откуда я это знаю? Но это было. Беспринципности у меня не было. Я знал, что ради карьеры, например, я не буду идти на всё, но мне и не надо [было]... Понимаете, вот опять же мне везло. До какого-то времени жизнь не ставила перед такими выборами. То, что я получал, было не больше, чем я заслуживал работой или чем-то... Вот я могу сказать так, что когда я в 61-м году перешёл на другую работу – я работал в почтовом ящике, перешел в академический институт и сразу получил там лабораторию в 50 человек – я вдруг подумал, что это слишком близко к начальству, что я не хочу быть начальством, что это нехорошо... Ну вот я твердо понимал, что в начальство идти я не хочу. Это был инстинкт такой.

ФБ: Инстинкт?

ЮШ: Да.

ФБ: Но не сознательный?

ЮШ: Нет, но я сознательно сделал следующее: за 2 года я довел число подчиненных до 10-ти. Я никого не выгонял, просто я давал им возможность отделиться от меня. Всегда есть люди, которые хотят больше самостоятельности, я не нарушал при этом ничьих интересов, но у меня была явная позиция – уходить от этого. Из военного института я ушёл, потому что я чувствовал, что там идёт какой-то обман. Мы вместо того, чтобы заниматься правильным делом, занимаемся, ну в общем, обманом, потому что все занимаются тем, чтобы выглядеть хорошо перед начальством. Мне казалось, что я даже своим участием помогаю этому обману. Просто ощущение чистоплотности, больше ничего.

ФБ: Это одна из причин моего исследования. Вы – католик?

ЮШ: Да, но это позже.

ФБ: Да, позже. Мне хотелось показать в каком-то смысле, может быть не прямо, потому что работа историческая, что естественное право – это правильно, что совесть присутствует у человека с рождения.

ЮШ: Да, но только не [...]

ФБ: Я думаю, это интересно, что многие в советском обществе, верующие и неверующие, говорят о совести. И система, в одном смысле очень моральная, а в другом – аморальная и даже дьявольская, не смогла разрушить совесть; пробовала по-разному, но не смогла.

ЮШ: Вы знаете, дело в том, что система отчасти была заинтересована в совести. Циники, которые сидели наверху, апеллировали к нашей совести. И это создавало некий комфорт даже.

ФБ: В каком смысле?

ЮШ: Ну в том, что от меня требуется вести себя по совести, а действовать не по совести надо было в особых условиях, когда ты попадаешь в наверх. Поэтому этого надо беречься. Я видел людей, которые совесть теряли. Для меня когда-то была шоком такая вещь – это сейчас выглядит как пустяк – у себя на работе, в ящике, когда меня взяли, я сделал несколько, по тем временам, хороших работ, их и сейчас помнят; я занимался компьютерами. Я придумал некоторые вещи, которые действительно были значимы. Эти работы специалисты по компьютерам до сих пор помнят. И тут мой начальник предложил […]

ФБ: Это было в каком году?

ЮШ: Это был 56-й год. Как раз тогда меня обратно взяли в тот почтовый ящик, где я доработал до того. Меня пригласили туда, дали комнату в Москве, это было очень много. И мне предложили подготовить доклад на международную конференцию в Париж. Я подготовил доклад, он был послан, опубликован... В последний момент оказалось, что едет только начальник и везет мой доклад. Я был очень шокирован его поведением, мне оно казалось бессовестным. Ну я это стерпел, но вот я столкнулся с таким бессовестным поведением по отношению ко мне.

У меня было ощущение, что система заставляла людей заглушать совесть, потому что это противоречило их практическим интересам. И вот тогда я уже осознал, что идти в начальство не надо, это нехорошо.

ФБ: Потому что нужно было бы действовать так же?

ЮШ: Да, что будет больше соблазнов действовать против совести.

ФБ: Это был сознательный выбор в отношении карьеры?

ЮШ: Ну более менее сознательный, но он был такой, естественный, это не то, что я долго думал и решил... А вот так чувствовал и, в конце концов, поступил по этому чувству.

ФБ: Потому что я брал интервью у нескольких людей, которые даже карьеру делали, чтобы избегать проблем с совестью.

ЮШ: Вы знаете, я довольно рано понял, что чем выше ты идёшь, тем больше у тебя ситуаций, когда тебе надо решать по совести или по самосохранению, или по пользе. Причем я четко видел, что чем выше человек, тем больше он ориентируется на свои интересы. И правильный способ – не лезть туда, высоко. Мне хватало. К счастью, у нас тогда хорошо платили научным сотрудникам. Мне моей зарплаты хватало, больших притязаний у меня не было. Ну за свою жизнь мне удалось купить эту квартиру, купить квартиру сыну и купить дачный домик. Так что вот, даже что-то я имел.

ФБ: Можете ли Вы рассказать немного о 60-х годах, о влиянии на Вас таких людей, как Надежда Мандельштам, о началах интереса к религии или интереса к значению жизни, вообще?

ЮШ: Значение жизни, ну как Вам сказать... Я же такой органический оптимист. Мне жизнь интересна, мне даже вот сейчас в мои почти 70 – мне 68 исполнилось – мне жизнь интересна. Она сама по себе хороша, ее только не надо портить. Не надо [делать так], чтобы тебе было стыдно за какие-то вещи. Ну, за какие-то вещи мне стыдно, но, может быть, не так уж много, я бы сказал так. Но те вещи, где я что-то нарушал, я помнил всегда очень хорошо, и что-то такое здесь горело неприятное, и я понимал, что это правильно, что тебе стыдно. Это правильно.

ФБ: Вы понимаете или Вы понимали?

ЮШ: Нет, я понимал. Инстинктивно понимал и тогда. Это такая органика какая-то была. Только в 60-е годы я понял, что сам строй безнравственный, что сам строй устроен так, чтобы подавлять совесть.

ФБ: Как Вы это поняли?

ЮШ: Вы знаете, как ни странно, одним из таких важных актов был, когда в 56-м году мне дали справку, что отец реабилитирован в виду отсутствия состава преступления. До этого я еще как-то думал, что может быть там что-то было, может быть было какое-то нарушение у отца, может не столь значимое, не соответствующее наказанию, но, тем не менее, что-то может быть и было. Тут я увидел, что делались вещи просто зазря, по принципу, вот надо убирать всех по каким-то соображениям, не имеющим отношения ни к справедливости, ни к совести. И вот это был большой удар. Я первый раз во взрослой жизни плакал, когда я получил эту справку, прочёл, и вышло, что человек погиб просто зря, ни за что.

ФБ: И это было начало..?

ЮШ: Ну, один из актов... Где стоит начало – никто не знает. На этот вопрос я ответить не могу.

ФБ: Вы с матерью разговаривали об этих вещах или, может быть, с женой?

ЮШ: Я не был ещё женат, я женат с 58-го года. Я поговорил тогда с девушкой, за которой я ухаживал и даже думал жениться… И вдруг я понял, что ей этот разговор крайне неприятен, что это нарушает её какие-то жизненные установки – сам вопрос о том, что это несправедливо; она была из среды, по-видимому, таких вот начальственных работников. И после этого я разорвал с ней, я понял, что мы друг друга не понимаем.

ФБ: Это интересно. В каком-то смысле, даже на бытовом уровне, отношения с некоторыми людьми были невозможны, если вы хотели разговаривать на такие темы.

ЮШ: Да.

ФБ: А Вы в те годы уже хотели разговаривать с людьми на эти темы..?

ЮШ: Ну вот 56-м году... При Сталине я не хотел иметь таких размеров, я понимал, что любой разговор просто опасен. Это был инстинкт.

ФБ: Были ли в те годы какие-то люди, которые особенно повлияли на Вас, какие-то яркие личности или особенно добрые люди?

ЮШ: Это была наша профессура университетская, которые относились по-доброму, для которых важно было то, что человек может делать, а не то, какое у него происхождение или полезен ли он... И я чувствовал, что я получаю признание, если я что-то делаю разумное и получаю трёпку, если я.... Ну, я понимал, что, скажем, абсолютно невозможно пытаться врать в науке... Но я вообще не люблю врать.

ФБ: Да, я тоже (смеётся).

ЮШ: Это было уже много позже, когда мне было уже где-то под 50, одна моя знакомая сказала: «Ты удивительный человек, ты никогда не врёшь, но если тебе нужно что-то *не* сказать, то ты скажешь правду, но никто не поймёт, в чём это правда».

ФБ: Были ли моменты в эти же годы, 50-60-е, когда Вы позволили себе врать.

ЮШ: Прямо врать – никогда. Я могу рассказать историю конца 60-х годов. Ситуация была очень трудная, когда от меня враньё требовалось. Значит, дело в том, что я был тогда заведующим сектором в небольшом отделе. И у нас работал Есенин-Вольпин, ну Вы знаете эту фамилию... И вот тогда была ситуация, что его посадили в сумасшедший дом. Очень много людей подписали письма в его защиту, в том числе моя жена. Я не подписал по одной причине... Я понимал, что надо подписать, но меня начальство направило – это был дьявольский ход, как я теперь понимаю. Они понимали, что я сочувствую Вольпину, и они на этом сыграли: сказали, мол, сходи от имени института к психиатру Москвы с просьбой отнестись к Вольпину хорошо. Я взялся. Я не понял, что это был способ, по-видимому, очень хитрый меня отстранить от этого письма. И в этот момент я уже понимал, что если я подпишу письмо, то *это* я сделать не могу. Я пошел туда действительно, может это даже было небесполезно... Но, как бы так сказать, я оказался не под ударом. Но в нашем отделе несколько человек подписали, в том числе тогдашний заведующий отделом. И от меня на партийном собрании институтском потребовали, чтобы вышел на трибуну и сказал, как я отношусь к тем, кто подписал письмо. Я хорошо понимал, что это ловушка: сказать, что я осуждаю своих знакомых, я не могу – это уже подлость, которую я не могу себе позволить; сказать, что их поддерживаю – это значит играть на руку начальству, потому что тогда начнётся следующая волна, тогда означает, что в отделе уже все такие плохие, и я понимал, что дальше будет – это легко просчитывалось. Я не знал, что говорить. Я вышел на трибуну и там сообразил следующее; эта история, по-моему, замечательная. Я считаю – как я сейчас понимаю – что это Господь Бог меня упас. Я пошел и сказал: «Я думаю, что подписывать коллективные письма бессмысленно. Я сам однажды подписал коллективное письмо». Ну, аудитория загудела, потому что сейчас я расскажу, как я тоже подписывал коллективное письмо... Я сказал: «Я подписал однажды письмо о том, чтобы товарищу Сталину присвоили звание генералиссимуса». Это была правда, 9-го мая 45-го года я такое письмо подписывал в университете – у нас собирали

подписи, чтобы Сталину присвоили звание генералиссимуса. Тогда директор смотрит: «Но это же хорошо, что Вы сделали?» – «Ну что значит хорошо, это бессмысленно – ему бы и так присвоили звание генералиссимуса». Тогда все стали выбегать в проходы и [крутить пальцем у виска], что я сумасшедший, crazy (Анг.) В общем, меня с трибуны сорвали, на следующий день меня вызвал секретарь парткома и сказал: «Ну как ты оцениваешь свое выступление?» Я сказал: «Как очень неудачное – меня не поняли». На самом деле, это было самое удачное выступление в моей жизни: вопрос был снят, я перевел его в глупость. Но я не врал.

ФБ: И это было в тот момент, когда Вам было важно не врать?

ЮШ: Да.

ФБ: И среди коллег, например, тех, кто подписал или не подписал, были разговоры о том, что надо врать или не врать?

ЮШ: Вы знаете, я думаю, что все вели себя индивидуально. Были люди, которые позорно каялись: подписали, а потом каялись.

ФБ: В каком смысле?

ЮШ: Ну отрекались, говорили, что они ошиблись... Причем особенно преследовали членов партии. Там были очень тяжелые вещи. Скажем, один из подписавших был бывший капитан КГБ, его исключили из партии потом. В результате это стоило ему жизни, болезни сердца и очень тяжёлых вещей. А я прошел легко. Я ж не соврал, но я и не дал повода преследовать других.

ФБ: Это интересно. Но вот то, что вы говорите об этом: Вы не соврали, но Вы и не говорили правду...

ЮШ: Каждое мое слово было правдой.

ФБ: Да, я имею в виду, что в каком-то смысле вся система зависела от того, что человек молчит.

ЮШ: Да.

ФБ: Хотя он против системы и не врёт, он как бы не [говорит чистой правды].

ЮШ: Конечно, да, это не было подвигом. Да, это не было подвигом правды, но все-таки я уклонился от лжи. И кроме того, я спас человек 5 людей от преследований. Этот тоже вопрос иногда возникает, что важнее..?

ФБ: Конечно, конечно, это очень важно.

ЮШ: Вот у нас был еще один эпизод, это было немножко позже. У нас был один парень, мой подчиненный, который вдруг пришел на работу и сказал: «Вот я наконец понял, что 37-й год *был*» – Он только сейчас понял, что 37-й год был, прочитал

Солженицына – «И я считаю, что надо жить не по лжи. Я написал статью в газету *Times*, которую предлагаю [подписать]». Текст статьи был такой: КПСС – говно. Вы понимаете это слово..?

ФБ: Да.

ЮШ: И он предложил нам это подписать. Значит у меня первое ощущение было, что он – провокатор. Причем ситуация такая: ясно, что с этим письмом опять нас всех будут, так сказать, трепать и кого-то выгонят... Я, наверное, поступил не лучшим образом, я сказал: «Знаете что, мне не нравится ваше письмо. Мне не нравится ваша позиция, вы в праве ее занимать – это дело ваше, но я предлагаю вариант: либо вы уходите от нас, либо я ухожу». У себя, в своем отделе, мы говорили без вранья, но, тем не менее, я до сих пор считаю, что это, если не провокация, то глупость невероятная. Протест должен иметь какой-то смысл, он должен иметь какой-то резонанс, но письмо типа КПСС – говно никакого резонанса иметь не может.

ФБ: Конечно, я понимаю.

ЮШ: Более того, это неправда. Это не говно, а дьявольская организация, хитрая, страшная организация.

ФБ: Здесь тонкая линия.

ЮШ: Да, я не могу считать себя абсолютно правым.

ФБ: Вы осознавали эти проблемы на протяжении всего времени...

ЮШ: Да, а он только сейчас сообразил.

(Телефонный звонок. Запись прервана)

ФБ: Когда начали появляться Ваши религиозные чувства?

ЮШ: Я почувствовал интерес к этому где-то в середине 60-х.

ФБ: Это было связано с темой совести каким-то образом или было какое-то внутреннее чувство, или как бы интеллектуальное пробуждение?

ЮШ: Скорее последнее. Скорее я чувствовал, что вот той системы интеллектуальной, в которой я живу мне не достаточно. Я начал что-то читать, о чем то говорить... У меня такая странная вещь: у меня мозги в руках – чтобы что-то продумать, я должен написать. И вот я написал рукопись большую под названием «Неизбежность Христианства». Ее бессмысленно публиковать – это чисто записка для себя. Она наивна, она не представляет интереса для других... Но вот на её основе я написал статью уже для открытой печати про науку. Это было мое первое выступление, в котором распознали религиозность.

ФБ: Это было в каком году?

ЮШ: В 69-м.

ФБ: И какое у Вас в тот момент было понимание религии, это что-то общечеловечное..?

ЮШ: Я боюсь, что я сейчас буду говорить неправильно, потому что я говорю уже с позиции [25-ти летней давности]. Тогда я не рефлексировал. У меня было ощущение, что тут что-то есть и, по-видимому, только через религию – для меня религия была в основном Евангелие – что тут что-то есть, есть что-то в церкви, и надо понять, что это такое. А дальше начались встречи. Ну, во-первых, с поляками некоторыми, где я увидел, что... Мне долгое время казалось, что религия – это убежище для старых людей, которые уже в этой жизни как бы не участвуют, что это, как своеобразное монашество, уход от мира, а тут я увидел поляков, которые наоборот не уходили от мира, а были очень активны. В 66-м году я даже познакомился с Тадеушем Мазовецким. С ним у меня большого разговора не было, но я с ним просто познакомился. Меня привели в редакцию журнала *Вензь*. Это варшавский журнал, католический, очень важный и интересный. И это меня, так сказать, интеллектуально направило к католичеству. Но потом еще была 67-м году была одна встреча в Венгрии со священником. Я просто почувствовал что-то, что я объяснить не могу, и отнесся к этому серьезно. Это был, если хотите, простой мистический опыт. Конечно, очень простой, но больших мистических озарений у меня не было никогда, святые ко мне не являлись, хотя наверно поддерживали как-то... Знаете, я однажды на исповеди – это уже много лет спустя – я сказал священнику, что в общем-то, наверное, у меня вера очень маленькая – я и сейчас не преувеличиваю реальность моей веры, хотя она есть – ведь человек, который имеет веру хоть в горчичное зерно, может горы двигать, но я ж горы двигать не могу... На что он ответил очень интересно. Он ответил так: «А вы знаете, часто бывает, что человек двигает горы, но сам об этом не знает». Это меня очень утешило, может я действительно что-то делаю... Ну вот выяснилось, что мои какие-то слова, мое какое-то свидетельство помогли другим прийти в религию – значит, что-то я могу.

ФБ: И наверное, из того, что Вы сказали, появление интереса к религии не было связано с фактором совести?

ЮШ: Прямо – нет, хотя... Понимаете, я не думал о совести, я ведь думал, что совесть – это вещь бессознательная. Сознание – это выбор слушать голос совести или нет. Я уверен, что совесть есть у каждого, только люди её заглушают. Потом я узнал, что так написано у Бернарда Клервоского.

ФБ: Он так пишет?

ЮШ: Да.

ФБ: Где?

ЮШ: В «О благодати и свободе воли».

ФБ: Это интересно, потому что, например, Ньюман говорит, что совесть это как бы голос Христа.

ЮШ: Но если он чей-то голос, которым я не управляю, но я могу слышать его или нет – вот здесь моя свободная воля. Вообще проблема свободной воли – для меня основная философская проблема. Сейчас для меня проблема – как разговаривать с атеистами.

Часть 2

ЮШ: Свобода воли – это первый опыт сверхъестественного, который есть у человека. Но свобода воли противоречит причинности: мне хочется одно, а я делаю другое. Все факторы заставляют меня идти по течению, а я вдруг начинаю плыть против – это противоестественно, это сверхъестественно. Значит, наличие свободы воли доказывает, что я не только естественное существо, а во мне есть что-то от Бога. Мне кажется, что Бог проявляется не столько в совести, совесть – это, может, дар Бога, а Бог обеспечивает мою свободу воли. Вот, пожалуй, я с кардиналом Ньюманом не согласен – как я теперь понимаю – я скорее согласен с нашим генералом Доминиканского ордена, который говорит следующее, что Бог присутствует в человеке, делая его свободным.

ФБ: Вы могли бы сказать, что Вы были причастны к диссидентскому кругу или нет?

ЮШ: Нет, я не был [причастен]. У меня были друзья-диссиденты, и я, естественно, им сочувствовал. Но это была какая-то политическая борьба, и, Вы знаете, часто происходила такая вещь, что человек шел... Я знал очень честных диссидентов, вот скажем, Костя Бабицкий, который участвовал в демонстрации на площади, был человек абсолютно чистый и действовал *буквально* по совети. Ну вот скажем, я знал людей, которые начинали говорить о безобразиях советской власти, уже приняв решение об отъезде. Их переход на поведение диссидентское помогал им [обрубить концы]. А мне казалось, что использовать совесть как мотив для решения собственных дел [таких], как устройство в жизни, – это не очень хорошо.

ЮШ: Вы думаете, что суть диссидентского движения была о совести, правде, или свободе?

ЮШ: Думаю, скорее о свободе. И в этом, кстати, видно, почему последователи диссидентского движения сейчас оказались в слабой позиции.

ФБ: Потому что нет ясного направления в этом смысле.

ЮШ: Да. Это было направление борьбы за политическую свободу. Нет, были узники совести, религиозные... Были, конечно, из диссидентов люди, которые отстаивали возможность именно действовать по совести. Я думаю, что такая была Ратушинская Ирина, например, поэтесса.

ФБ: Да, я знаю её, **брал у неё интервью**.

ЮШ: Я тоже её знаю. Я с ней был знаком, когда она ещё была совсем юной девочкой. Она была подругой дочери моего приятеля, с которым мы дружили. Мой сын был у

неё шафером на свадьбе, на венчании у Ретушинской. И вот я уверен, что здесь было всё органично. Но понимаете, диссиденты органические никогда не требовали, чтоб все становились на их позиции. Вот это был хороший критерий: диссиденты политические требовали от других, что вы обязаны в этом участвовать. Но для меня по ряду причин вопрос отъезда был бы крайне неприятен тогда, потому что я не мог бросить семью, да и вообще... *Здесь* я понимал свое место. Вот даже сейчас, у меня дети в Австралии получили [вид на жидельство], и я с некоторым ужасом думаю, что придётся уехать к ним. Мне не хочется. Потому что мое место деятельности, жизни здесь; я органически здесь.

ФБ: Вы сказали, что советская система и партия коммунистическая были дьявольской вещью...

ЮШ: Да.

ФБ: Вы так думали уже в 70-е годы или только сейчас?

ЮШ: Нет, это я думал уже в 60-е годы. Я понял это.

ФБ: Даже в таких терминах?

ЮШ: Да, когда я только начал религиозной проблематикой заниматься, я сразу понял, что это дьявольская система.

ФБ: Почему?

ЮШ: Потому что она отбирает у человека его личностное поведение и стремится отчуждать личность свою пользу. Причем она [работает] очень интересно, там была разработана система соблазнов: хочешь вообще жить, получать зарплату или что-то, ты должен действовать по таким-то правилам. Иногда она требовала даже не очень много – ведь сталинская система требовала, чтобы мы кричали на собраниях убей врагов народа, уничтожь того-то – система хрущевско-брежневская уже этого не требовала, она была довольно мягкой. Тем не менее, дьявольской она оставалась.

ФБ: И как Вы оцениваете всё, что получилось, особенно в связи с темой совести, если можете, например, с точки зрения католичества? Потому что многие католики, Бернард, Ньюман, говорят об этой теме... Например, я хотел показать, что с одной стороны причина распада Советского Союза была в том, что [его устройство шло] против естественного права.

ЮШ: Конечно, с этим я согласен.

ФБ: В каком-то смысле к истории можно подойти через богословие, советская история довольно хорошо показывает правдивость христианской позиции.

ЮШ: Совершенно верно. Абсолютно согласен. Она показала больше: что эта штука могла держаться только на тяжелейшем прессе. Как только Горбачев отпустил немножко клапаны, дал какие-то возможности, очень маленькие, это было уже

необратимо. Я даже думаю, что сейчас у большевиков, у зюгановцев нет настоящих перспектив. Я очень не хочу, чтобы они победили, потому что это отбросит страну опять назад и может привести к тому, что там будут какие-то крайние силы. Страшен не сам Зюганов, а его партия. Сама партия – это вещь противоестественная и античеловеческая. Может Зюганов хотел бы быть новым Брежневым, не знаю, какой у него образец... Но вряд ли он в себе видит нового Ленина. Просто видно по поведению, не так себя ведет он: он не является истериком, он пытается разговаривать по-человечески, апеллировать к человеческим нуждам... Но всё равно, это уход назад и идея, скажем, нынешних диссидентов, например, Ковалёва не голосовать ни за Зюганова, ни за Ельцина – нельзя выбирать наименьшее зло, а надо готовиться к переходу в новую оппозицию – это, мне кажется, очень дурная позиция. Понимаете, христианская точка зрения состоит в том, что никогда не бывает идеальных правителей. Святые короли были иногда: был святой Людовик, был Карл Великий, по-видимому, замечательный император... Был *приличный* царь Александр II, который, тем не менее, воевал с Польшей, подавлял польское восстание. Ну что сказать, да. Но, скажем, убийство царя Александра II было катастрофой. И вот эта наша неспособность принять не очень хорошее правительство... Есть разница между не очень хорошим и дьявольским.

ФБ: Я согласен.

ЮШ: И это как раз христианская, по-моему, позиция. Понимаете, мы привыкли, что правительство надо любить: если мы не любим Сталина, то мы должны любить кого-то еще, Ельцина или Гайдара, или Лебедя; коммунисты хотят любить своего Зюганова... Я буду голосовать за Ельцина не потому, что я его люблю, а потому, что считаю, что он единственный человек, который может, так сказать, не откатиться назад.

ФБ: Я тоже поступил бы так же.

ЮШ: Я думаю, что единственный благоразумный способ был бы, если бы пришёл Ельцин.

ФБ: Взирая назад на свой опыт, на пробуждение чувства добра и зла, совести, морального познания, Вы можете что-то добавить, откуда это появилось, были ли другие важные моменты?

ЮШ: Вы знаете, во первых, в России есть потрясающая литература от Пушкина и дальше. Не все эти авторы верующие. Скажем, Чехов был неверующим, и я думаю, что читать Чехова и понимать его – очень важно для пробуждения совести и религиозного чувства. Кроме того, совесть – это принадлежность не только христиан, это принадлежность любого человека. И очень важно жить в стране, которая не заставляет непрерывно жить против совести, когда само выживание требует нарушать совесть.

Вот для меня был один интересный опыт, я сейчас вспомню... Вот когда была вся эта история с Вольпиным... Он работал у меня в отделе, был даже в моём секторе некоторое время. Однажды был очередной партком, куда меня вызвали как представителя сектора, и обсуждали там ситуацию с Вольпиным. Это была чудовищная

гадость – что они говорили там. К счастью, мне говорить *просто* не надо было, потому что с ними говорить было нельзя уже. А потом был перерыв, и все вышли в коридор покурить. И вдруг я вижу, что бОльшая часть из них оказались нормальными людьми. Я с ними разговариваю и понимаю, что у них нормальные реакции, им противно то, что происходит. Они этого не говорят, но я вижу, что им противно. Но когда они вместе, то совесть у них как бы отнята коллективом вот этой партийной структуры. И вот это был основной механизм, что когда человек попадал в эту, так сказать, партийную структуру, где они что-то обсуждают, то ему приходилось либо затыкать свою совесть, либо он должен был просто сказать: «Я с вами больше не играю». А это же трудный выбор – человеку сказать: «Вот всё, я в этот момент поворачиваю свою жизнь». К такому выбору надо быть готовым, это нельзя сделать по заказу.

Вот я Вам могу рассказать еще эпизод. Значит, в 84-м году меня исключили из партии, когда открылось мое католичество.

(Телефонный звонок. Запись прервана)

Меня вызвали в КГБ, в Лефортово на допрос, сначала, до этого. Ну, допрос в Лефортово – это был такой лёгкий вариант, потому что я уже не боялся почему-то, и они не занимались истерикой. Они не приходили в ужас: «Ах, вот католик!» После этого, когда это [распространилось] в партийных кругах, то я увидел истерику: «Как это может быть?!» Главное, они придумали формулировку, что я был членом нелегальной католической секты. Все-таки это неверно, католическая церковь – это не секта, а мировая религия, вселенская церковь (смеётся); сектой она быть не может. Кстати, я не был в этом, подпольном... Я просто как-то раз зашёл к ним, только и всего, или два раза, я не помню... Словом, это была неприятная история, и на парткоме все говорили какие-то чудовищные слова. Причем я видел, очень интересно, как каждый себя вёл: одни пытались, так сказать, принять в этом участие и выразить ужас, мол, как коммунист мог быть католиком... Я на самом деле считаю, что коммунист не должен быть католиком, и если б я был совсем честный, я бы должен был сам подать заявление об уходе, но я боялся и этого не сделал.

ФБ: Я хотел узнать, почему Вы не ушли из партии?

ЮШ: Я могу сказать, почему. Потому что уход из партии – это было гораздо страшнее, чем просто не быть [в партии]. Это значит потерять всё.

ФБ: Несмотря на тот факт, что Вы считали, что это дьявольская вещь, вы продолжали работать...

ЮШ: Ну, я не был партийным функционером. Дьявольской вещью была сама партия, сама структура, а люди-то не были дьяволами. Я знаю массу членов партии, вполне порядочные люди.

ФБ: Конечно, но это для Вас это не было проблемой?

ЮШ: Было проблемой, но я её решил так: это не идеальное решение […]

ФБ: И Вы были счастливы, что это был выбор по совести?

ЮШ: Какой выбор?

ФБ: Быть в партии и быть католиком не шло против Вашей совести, личной? Я не говорю об идеальных вариантах, а о Вашем опыте...

ЮШ: Ну в общем, это не был худший вариант, потому что плохо было исполнять поручения партии и участвовать в этих гадостях. Я в них практически не участвовал. Наоборот, я использовал это уже для того, чтобы можно было кому-то помочь. Ну вот я могу рассказать историю с Вольпиным... Вольпин должен был уезжать уже за границу. Меня вызывает секретарь парткома – причем не секретарь, а заместитель, есть такое *освобожденный заместитель*, который фактически работник райкома – и говорит, что он знает, что Вольпин уезжает и хотел бы снять все препятствия к его отъезду, и спрашивает, вижу ли я такие препятствия. У меня был сложный выбор: я видел кое-что, я знал, *что* ему помешает уехать. Но что это, провокация, чтобы узнать и использовать эти препятствия использовать или, наоборот, они действительно хотят, чтобы он уехал? Я почему-то подумал, что они действительно хотят, чтобы он уехал – были основания так подумать; это был рискованный шаг сделать то, что я сделал. Я сказал: «Да, я вижу два препятствия. Препятствие первое: он разошелся с женой и должен оформить брак с новой женой. Ему назначили регистрацию на 10 дней позже, чем дата отъезда. Вы понимаете, что он не уедет, пока не зарегистрируют брак? Вы хотите этого или нет? Второе: я знаю, что Алик Вольпин везет чемодан с рукописями. Вы хорошо понимаете, что на таможне будет скандал – эти рукописи будут задерживать, и вы хорошо понимаете, что этот скандал дальше привлечёт внимание иностранных корреспондентов и так далее. Вы этого хотите?» Тот при мне куда-то звонит и что-то обсуждает насчет регистрации, звонит явно в какое-то КГБ-шное место. На следующий день приходит Вольпин, говорит: «О, какое счастье, мне дату регистрации перенесли на завтрашний день!» Значит, я угадал правильно. Я мог не угадать, это был риск. Тут, конечно, проще всего отказаться от всего и сказать, что я ничего не знаю, это безопасно. Но с другой стороны, является ли это правильным выбором с точки зрения совести? Вот оказалось, что я сделал правильный выбор. Еще через два дня меня вызывают к директору, мол, вы поедете на таможню проверять чемодан Вольпина. Значит, я сижу с одной стороны с таможенником, с другой стороны Вольпин, который привез свои чемоданы. Тот смотрит: «Ну, это барахло, одежда, это тоже что-то неинтересное, а это – рукописи. Ну-ка смотрите, что это за рукописи?» «Ну это рукопись» – я говорю, конечно, наугад – «Это текст доклада, который был сделан тогда-то, я сам подписывал акты экспертизы». Я вру, конечно. Ну, короче говоря, чемодан пропустили. И опять же всё обошлось. Вот я такое сделал. Я не считаю, что это подвиг, но я здесь действовал по совести, хотя это был риск.

ФБ: Вы говорите, что в каком-то смысле, если мы говорим о совести, то вообще есть 10 заповедей...

ЮШ: Да.

ФБ: Но есть ещё что-то другое, не только совесть, но и как действовать в определённой ситуации.

ЮШ: Нет, нет, это совесть, это заповедь Христа – любовь к людям.

ФБ: Это практика...

ЮШ: Ну да, но она состоит в том, могу ли я уклониться от помощи Вольпину? Возможно мой отказ участвовать в этом будет означать, что я ему ситуацию сильно осложняю, он – человек больной, нервный, для него все эти вещи тяжелы...

ЮШ: Я тут хочу сказать некоторое слово во славу Вольпина. Конечно, мою репутацию сам факт того, что я был на таможне, не украшает, и я понимал, что могли быть разные разговоры. Но самое интересное, что это понял и Вольпин, и через 20 лет, когда он сюда вернулся в 90-92-м [...]

ФБ: Где он живет?

ЮШ: Он живет в Америке, в Бостоне. Но он приезжал сюда уже. И оказалось – мне рассказал один общий друг, вернее друг Вольпина, но мой знакомый – что когда Вольпин уезжал, он сказал: «Шрейдера будут упрекать, что он был на таможне, но ты должен знать, что он всё сделал правильно». Я очень порадовался, что Вольпин это сделал, я от него этого не просил, потому что, если уж я делаю поступок, я должен за него отвечать, и, так сказать, свою репутацию я бросил к его ногам. Заметьте, что в этом случае я сделал это не для того, чтобы быть хорошим перед партийным начальником. Тут я точно знал, что я был бы самым хорошим, если б я был ‘не в курсе дел’. Это был такой крайний случай. Но вся жизнь состояла из такого рода вещей, когда надо было спасти кого-то от сокращения... Приходилось делать такие вещи. Но каждый раз, конечно, совесть тут показывала, что не всё так хорошо.

ФБ: Это интересно, но Вы вначале сказали, что были какие-то моменты в жизни, за которые Вам стыдно. У меня впечатление, что вот эти или другие, менее значимые проблемы, когда Вы сделали что-то правильно или неправильно, это не те моменты, за которые Вам стыдно?

ЮШ: Нет, я Вам не рассказывал про то, когда мне было стыдно.

ФБ: Это более личное.

ЮШ: Это более личное, они не связаны с политикой.

ФБ: Не связаны с политикой, хорошо. Это в любом случае интересно, потому для религиозного человека это указывают на то, что есть моменты ясного греха, о которых мы знаем, и есть неясности.

ЮШ: Да. И когда приходится рисковать; без риска нельзя. Я знаю людей, которые, так сказать, не совершили прямого дурного поступка, потому что они умели очень хорошо уходить от всех сложных ситуаций. Но я не уверен, что это действие с религиозной

точки зрения всегда правильное. Это значит, что они не помогали людям при этом. Это было ценой того, что они уже отказывались людям помогать, а для меня это главный императив.

ФБ: Как Вы относитесь к теме покаяния за прошлое?

ЮШ: Тут есть очень принципиальные вещи. Вы знаете, в религии может быть много сомнений, и я даже думаю, что корень атеизма в том, что атеист не способен сомневаться. Религия как раз учит сомнениям: я могу во многих вещах сомневаться, думать сегодня так, завтра иначе... Но есть одна вещь, в которой, мне кажется, сомневаться католику не следует – это в том, что покаяние на исповеди и отпущение священником греха, действительно грех убирает. Потому что, если бы я в это не верил, я всё время жил бы в состоянии, что уже всё безнадежно, я уже в этом грехе. Вот я неделю назад был на исповеди. У меня не было каких-то грехов, которые я считаю важными, существенными, но формально то, что я там сказал, было грехом. Но я твёрдо верил, что этот грех был отпущен, мне было стыдно там... Знаете, стыдный грех и сильный грех – это разные вещи. Обычно, стыдные грехи это как раз не самые главные. Человек не так стыдится, что он убил – я не убивал никого, я могу сказать – а гораздо больше стыдится, что он украл какую-то мелочь.

ФБ: Это [касается всех, вне зависимости от страны проживания]. Что интересно здесь особенно это то, что у Вас есть опыт стыда за какие-то личные вещи...

ЮШ: Да, конечно.

ФБ: ...но может быть здесь, в этой стране, у Вас есть опыт стыда за какие-то более официальные вещи, в которых Вы участвовали?

ЮШ: А, да, сейчас могу сказать.

ФБ: Вы сказали, что после исповеди грех отпущен...

ЮШ: Грех отпущен, а стыд остается. Конечно. Но это другое дело. Это надо помнить о грехе. Я их не забываю, но я считаю, что он уже не управляет мной. Это другая вещь. Я могу рассказать случай, когда мне было очень стыдно. В 68-м году, в ноябре, после захвата Чехословакии, у нас делались попытки как-то наладить контакт с интеллигенцией. И меня вдруг послали в Чехословакию в составе делегации. Меня очень мало посылали на Запад и только в соцстраны. Первый раз я попал на ‘настоящий’ Запад только в 90-м году, во Францию и в Италию. Это был первый раз. А до этого, ну вот в Чехословакии, Польше, Венгрии бывал... Я очень не хотел ехать в ноябре. Потому что ехать в ноябре в Чехословакию – это как бы сказать, что я поддерживаю. Я подал заявление об отпуске, и мне ясно было сказано, что в отпуск меня отпустят только после поездки. И дали понять, что если я не поеду, то я работать уже не буду. Я поехал. Мне было стыдно, потому что это была трусость. Я дорожил своей работой, потому что у меня тогда [...]

ФБ: А сейчас, взирая назад, Вы сделали бы иначе?

ЮШ: Вы знаете что, давайте я Вам сейчас расскажу, как там было... Дело в том, что чехи очень хорошо поступили, они меня спасли, я им страшно благодарен за то, что они сделали. Но я не знал, что так будет. Значит, чехи тым были знакомые или не очень знакомые, но они сделали следующее: во время заседания они вытащили меня в коридор и спросили, что я думаю про это. Я сказал, что я думаю, что это преступление. После этого были самые добрые отношения. Но я сказал им, что я думаю. Причем, поскольку последствий не было, я думаю, что они никому об этом не говорили. Но я не мог рассчитывать, что они никому не скажут. Поэтому я считаю, что вот моя правдивость здесь, она как бы сняла грех того поступка.

ФБ: Может быть, это жесткий вопрос, но в любом случае, это интересный вопрос, потому что я **взял интервью у одного человека**, который вступил в партию. Он сказал, что сразу после того, как он вступил в партию, он сам почувствовал, что согрешил.

ЮШ: А в каком году это было?

ФБ: В 60-е годы. Я спросил: «Вы хотели бы сделать иначе?» Он сказал: «Я хотел бы чтобы не было необходимости этого делать». Для меня, это сожаление, можно сказать, но не покаяние.

ЮШ: Это не покаяние. Я по-другому отвечу: в тот момент, когда я поступал, я не думал, что это грех. А наоборот думал, что это некоторая удача. Тем более, что в тот момент, когда я вступал, это не было условием, что я что-то получу: я уже защитил диссертацию и получил должность доцента старшего научного сотрудника. Казалось, мне это не нужно, поэтому у меня не было ощущения, что я продаюсь за какую-то плату. Этого не было.

ФБ: Понятно.

ЮШ: Сейчас я бы сказал так: я бы предпочел этого не делать. Я бы предпочел, чтобы этого эпизода со мной не было. Это несколько изменило мою последующую жизнь: я может не стал бы заведующим лабораторией, чего-нибудь еще не было бы, но я был бы рад, если бы этого не было. Вот этого мне стыдно. Стыдно своей глупости, потому что глупость – это тоже грех.

ФБ: Для меня это тоже важный вопрос, потому что мне кажется – я не святой – но мне кажется, что невозможно идти вперёд без [раскаяния]. Прошлое продолжает как бы работать внутри человека, пока он по-настоящему не покается.

ЮШ: Нет, вот в этом [...]

ФБ: И на русский народ пришлось много ошибок, но очень немногие осознают, что согрешили и берут за это ответственность.

ЮШ: К сожалению, да.

ФБ: Ну это бывает везде, это не только у русских...

ЮШ: Да, я понимаю, я не думаю, что это Вы сказали против русских. Но дело в том, что мне очень повезло: поскольку меня в 84-м году исключили из партии, то мне не надо было уходить, а я знаю людей, которые *ждали момента*, когда можно было уйти. Скажем, я знаю людей, которые ушли летом 91-го года из партии. Причем, они подали заявление, их там разбирали на партийные организации... И мне за них было очень стыдно, но они хотя бы ушли. А есть люди, причем вполне добропорядочные, которые сдали партийный билет только когда партия была разрушена. Ну, они не вступили потом... Я думаю, что гораздо хуже те, которые вот сейчас поступают...

ФБ: И для России, вообще, покаяние какое-то нужно или это уже в прошлом, мы уже в другом мире, где другие вещи нужны? Или может быть это слишком отвлеченный вопрос?

ЮШ: Нет, я сейчас скажу. Покаяние нужно всегда, но, к сожалению, в России это все было слишком долго. Гитлер [правил] всего 12 лет, и то поколение, которое начинало, еще было активнодействующим. Денацификация была нужна, и она произошла в момент [последовавший] за пиком гитлеровских преступлений, который приходился на самые последние годы. Когда я читаю, что происходило до 39-го года, всё было по сравнению с нами очень тихо и спокойно: тех огромных преступлений еще не было, их лагеря – до Освенцима, Равенсбрюк и других – были детской игрой по сравнению с нашими. Это были просто пустяки. Людей отправляли туда на полгода на перевоспитание, после чего они выходили и имели право работать. У нас было совсем другое. Но у нас было несколько периодов. У нас был период сталинской, совершенно страшный. Вот очень плохо, что в 56-м году был закрытый доклад Хрущева и не было покаяния, это многое определило. Затем были относительно легкие времена Хрущева, затем были брежневские времена – застой, но они не были жестокими. Понимаете, в брежневские времена было противно, но можно было жить, можно было найти способ существования; не было тотальных лагерей. Ведь совершенно поразительно для меня, пережившего сталинскую эпоху, было осознавать, что людей арестовывают за то, что не есть преступление. Но, тем не менее, было некое дело, была некая организация, то есть были некие, соблюдаемые всеми, правила игры. В крайнем подъезде от меня живет очень известный диссидент Шиханович. Я помню, как я время от времени видел машины, дежурящего у его подъезда. Значит, выходили гости, из машин поднимались люди и шли, провожали их до метро. Но они как бы занимались отслеживанием некой организации, которая с ними боролась, это всё-таки не то, что происходило при Сталине, когда никто не знал, что с ним будет, и абсолютно любой человек ожидал ареста. Это другая ситуация. И понимаете, каяться за брежневское, когда мы не каялись за сталинское, в этом есть что-то неестественное даже. Надо бы, но это психологически трудно. Потому что очень многие воспринимали брежневские времена, как нормальную жизнь, которая была гораздо лучше того, что было [прежде]. Это не значит, что покаяние не нужно, я говорю, почему оно сложно.

ФБ: Я понимаю, как это сложно...

ЮШ: Я сейчас скажу глупость, может быть, но в царские времена были разные неприятные вещи, вероятно. Но, понимаете, заставить сегодня думать о том, что руководители жандармерий не покаялись том, что они преследовали, скажем, просто

студентов – бессмысленно, потому что то, что они делали, было скорее ошибкой, политически неправильным ходом. Как сегодня кто-то из помощников Лукашенко говорит: «То, что делает Лукашенко сегодня в Белоруссии – это прежде всего глупость». Что он прижимает прессу... Понимаете, это не террор в том смысле, как был при Гитлере и Сталине, это глупое, так сказать, нарушение демократических принципов. А в глупости всегда труднее покаяться.

(Телефонный звонок. Запись прервана)

ФБ: Может быть есть что-то еще, что Вы хотели бы добавть? Это очень интересно, я очень благодарен, Вы рассказали так много интересных вещей...

ЮШ: Вы знаете, у меня странное ощущение, мне сейчас приходится давать интервью... У меня ощущение, что в каком-то смысле это непонятно, потому что я не нахожусь на острие событий, моя роль достаточно скромная...

(В комнату входит ребенок. ЮШ обращается к ребенку) Ксюшенька, иди к бабушке.

Но с другой стороны, может быть, материал надо по крупицам [собирать]. Может быть обыкновенность моей жизни что-то, так сказать, выражает из нашей эпохи. Поэтому я не отказываюсь от разговора.

ФБ: С одной стороны, для меня, это довольно трудное исследование, как Вы можете себе представить. Во-первых, было бы интересно знать Ваше мнение, я хочу продолжить [исследование] по этой линии, может быть, написать книгу, но эти вопросы с одной стороны очень личные...

ЮШ: Это меня не смущает.

ФБ: Для вас, может быть, вопросы не были особенно жесткими, но иногда бывали более жестокие вопросы, и я думал, что я захожу слишком далеко в жизнь другого человека... Но как представить эту информацию, чтобы это было понятно и грамотно с научной точки зрения, в историческом плане? Мне трудно справиться с этим вопросом (смеётся).

ЮШ: Вы знаете, мне трудность видится вот в чем: Вы получаете некий текст, который описывает жизнь, в которой мы все живем. Но текст превратить в такой философский дискурс, превратить его в какие-то постулаты или выводы – это очень трудно, при этом многое теряется.

ФБ: Да, конечно, многое теряется.

ЮШ: И вот как сделать, чтобы это было достаточно четко понимаемо, тот материал, с которым мы имеем дело, а с другой стороны, чтобы не утратился живой поток жизни – это дико трудно по-моему.

ФБ: Да, точно. Точно.

ЮШ: Понимаете, ведь я Вам рассказал часто вещи несущественные. Вот, скажем, история с таможней Вольпина... А между тем, чтобы понять, как я себя чувствовал и как я себя вел, наверное, это было важно. Конечно, всё состояло вовсе не из этого, там была масса радостей... Мы же жили... И, скажем, у нас был хороший семинар по семиотике. И когда, скажем, начались всякие зажимы в брежневские времена, то, скажем, Лотман – Юрий Михайлович Лотман замечательный культуролог – он уже не мог делать доклады в лингвистических институтах, потому что это были институты как бы гуманитарные, там была сильнее цензура... А вот у нас на семинаре он мог выступать, потому что мы были как бы техническим учреждением. Так что мы все время выбивали какие-то возможности, и каждый раз задача была даже не в том, чтобы... Ну вот, делать по совести – значит стараться сохранять некую культурную линию, некое содержание науки, пытаться получить возможность даже о религии говорить, хотя бы подспудно. Но я могу сказать следующее: когда сняли цензуру, я думал, что я возьму старые рукописи, которые у меня лежали, и буду их издавать. Я понял, что я не могу: они были написаны уже с оглядкой на возможности. Я не стал их публиковать. Я стал писать новые. Я очень много написал за это время, но *нового*. Сейчас для меня проблема, о которой мне хочется написать – это, скажем, как вести диалог с атеистом; феномен неверия сам по себе. Надо изучать не феномен веры, а феномен неверия, потому что изучают не здоровье, а болезни. Понимая болезни, мы что-то понимаем и о том, как быть здоровым. Кроме того, здоровых нет. Иисус пришел больным, а не здоровым. Ну вот... Я очень благодарен Богу за мою жизнь, потому что она мне дала массу возможностей, на которые я не рассчитывал. Наверное, если бы мне тогдашнему в 50-е годы, когда я вступал в партию или работал преподавателем в институте, сказали, что я стану верующим, да еще таким активным, я бы сказал, что этого не может быть. Я бы очень удивился. Но какими я был тогда, я уже не удивляюсь; таким был.

ФБ: Ну спасибо. Спасибо большое.

(Конец интервью)

English summary

This is a condensed summary of the main points of the interview, in the first person, not an exact translation

I am a man of the older generation, and I was formed in the Stalin years. My understanding of things has changed over time. What I was in the Stalin era is not pleasant for me to recall, although perhaps it was the only way of remaining whole.

I had concepts of good and evil – there are things you should not do. I was also under the influence of ideological propaganda, book, school education. It seemed to me that the ethics of Tolstoy and Dostoevsky were not so far from reality, but that mistakes were being made.

My father was arrested in 1938, and I was sure that he was not guilty. He was accused of sabotage. He was the main engineer of a factory. He was born into an intelligentsia family. His father was an engineer who had his own engineering outlet in Ekaterinoslavl, now Dnepopetrovsk, but in 1917/18 he stopped that work. The family of my grandfather was a source of all-human values. It was a non-religious family. My great grandfather was a religious Jew. My grandfather was a wholly Russified Jew, who had departed from the Jewish tradition but who had not come to Christianity. My mother was from another family, her father being from a proletarian background. He was also a teacher.

His proletarian background gave my mother the chance to go to an academic institution. She accepted the official ideology as a reality, which was only destroyed by bad people. Stalin and the Politburo were good tsars. She understood what was going on but also accepted the regime and educated me in that way.

In 1956 I entered the Party, when it seemed to me that things were getting better. I knew much of the past. I had seen a lot but I understood it as the imperfection of the world.

I was born in Ekaterinoslavl, and then my father moved to Bryansk and then to Moscow. Father was arrested. I was sent to live with relatives in the town of Kerch. Mother found work in Moscow. We were saved by moving to Moscow, otherwise we would have been sent away. I understand that now. I returned to Moscow in 1939, studied there at school. I moved through school quickly and finished school in the Urals during the evacuation, and I went into an institute there. I was lucky that during the war things were a bit easier for those with arrested fathers. That helped me to believe that the system in general was an honest one. Father being an honest man, his son gets into university. I moved to Moscow in 1943 and in 1946 I became an aspirant, but by the year after that the doors were closing for people like me.

The war gave us the impression of our own rightness. We beat the fascists. What was really happening at the front I did now know. At home we had Russian literature, all my concepts came from that. My mother always had a very worth attitude to people. She was a popular teacher. We always had the principle at home that it was necessary to help people. And that did not seem to conflict with general principles. The contradiction came from people who

themselves lived badly. I did not see that reality. I do not want to present myself as cleverer than I really was.

There were moments when I felt there was something unjust. My mother gave me one lesson. Someone came from the church to register, and she refused with great grace referring to her Jewishness. There was a blind girl at the university, and they wanted to throw her out because it turned out that she had sung in German hospitals during the occupation. I remember a sense of injustice about that.

We were a secularised family, with nothing come from our Jewishness. Perhaps a certain morality, but it was a general intelligentsia morality.

In 1942 I entered a pedagogical institute in the Urals. I managed the year after that to get into MGU, the mathematics faculty One of the professors had persuaded the institute to accept me in spite of my father. The war itself and the period 1945/46 was freer, but then came the report of Zhdanov. I could not understand why destroy writers. I emotionally thought of this as bad, but I didn't really think about it. I understand now that it was the first instinct of self-preservation. I think I had started to think, I would not be around any longer.

Science itself teaches values. Not fully. But an understanding of science is already something. Then later, when I started to reflect at the beginning of the 1960s, I had humanitarian friends. At the start of the 1960s, I met Nadezhda Mandelstam, Shalamov, and then I started to think seriously. I understood that science cannot prove fundamental things. It teaches concepts of honesty and responsibility for truth, but science is not founded on a deeper truth, so Marxism's appeal to science is bad, and then at that time my interest in religion grew. I visited N.M. and Shalamov and read a bit of samizdat. My aunt was a writer and had writer friends.

After aspirantura, I had the shock of not finding work – I think because of my father and because of my Jewishness. I very much wanted to be in physics, but nothing developed. By chance I ended up ain place where they studied technology. I was then thrown out. I got work teaching maths at a technological vuz. I had a good academic record. I was a year without work, and then got taken on. I was not a dissident at all.

In 1969 I wrote an article for Novy mir on science as a source of knowledge and superstition, which was quite successful. I did not believe that anything else in our society was possible when I joined the Party. There was hope at that time. It seemed like the renewal of civil rights. It was a mistake. When in 1942 I was accepted into the Komsomol, I said to myself that I had been allowed to be like everyone else. Belief or non-belief did not matter.

It was a bit like that when I went into the Party. Khrushchev's speech confirmed the hope. Before that no one would have thought of accepting me into the Party. People advised that this was possible. It was my naivety, because I did not need it for my career. My crises of conscience related to my work, r when I went after a woman and then wanted to drop it.

I know that I would not do anything for the sake of my career. But I was luck that life did not present me with such choices. When I moved to anther job in 1961 to an academic institute,

I was immediately part of a laboratory with 50 people. I thought I was getting too close to the bosses, and I had an instinct not to not to try to become a leader. I left the military institute because I felt there was some kind of deception. We were trying to please the bosses and I thought that I was participating in a deception.

The system was interested in conscience. The cynics who controlled us, appealed to our consciences. You would only suspend your conscience in certain circumstances. I saw people who had lost their conscience, when I worked in the post office on good computer work. It was suggested that I give a talk at an international conference in Paris, and at the last minute only the boss wen taking my talk, and I thought this was against conscience.

I had a feeling that the system tried to silence the consciences of people because it was against their interests. It was then I realised not to become a boss. There were temptations. I understood that the higher you were, the more difficult situations there were for conscience. I had enough salary to have flats and a dacha.

I am an organic optimist. I am now 68. Life is interesting. Not need to spoil it by being ashamed of things. Where I have done things wrong, I remember them well. I understood that it was right to be ashamed even at that time. Only in the 1960s did I understand that the system was constructed in such a way as to destroy conscience. In 1956, when my father was rehabilitated, I saw that he had never actually committed a crime, and that he had died for no reason at all. I cried. I married in 1958. I talked about this with the girl I was interested in at the time. The question disturbed her – she was from the worker elite. I knew that we could not be right for one another.

Our professors were very influential. I would receive recognition for good things. I knew that it was impossible to lie in science. But I did not like lying. I never lied directly.

The end of the 1960s: I was the head of sector in a big department, and Esenin-Volpin was with us. He was put into a psychiatric hospital. A lot of people signed a collective letter over this. I did not sign for some reason, although I understood that I ought to sign. There was a Party gathering over this. [Both signing and not-signing were problematic for various reasons.] I did not lie, but the way I behaved was not a heroic act of truth, and I saved about 5-6 people from persecution.

One colleague came to work saying he had just read Solzhenitsyn's essay, 'Live not by Lies'. He wanted me to sign a letter saying that the 'CPSU is shit'. My first feeling was that he was a provocateur. I knew what would happen to all of us if I signed. I said I did not like his letter or position. If he was not a provocateur it was a very stupid thing. A protest must have some meaning. A letter of that type could not have resonance.

My religious views started to grow in the middle of the 1960s. It was more an intellectual wakening. A sense that our system was not ok. I wrote a long manuscript called 'The inevitability of Christianity'. I had met one or two Poles. I had previously had the view that religion was for elderly people. I met Poles who were religious and active. In 1968, I met Tadeuz Mazoweski. I went to the editorial board of the Catholic journal Wench Warsaw. I

met a priest in Hungary in 1967 when I felt that there was something there which I could not explain. I had a small mystical experience.

Later during a confession, I said to the priest that my faith would not move mountains. He said that sometimes a man moves a mountain without realizing it.

Religious did not come directly with conscience. St Bernard writes in 'On Freedom of Will and Grace' that everyone has the choice to listen to conscience or not. I am free to choose whether or not I listen to conscience.

Freewill is the first experience of the supernatural because it contradicts causality. It is unnatural, supernatural. It means that I am more than a natural man. God manifests himself most in freewill rather than conscience. The head of the Dominicans has said that God present in man, making him free.

I was not part of the dissident circle, although I had friends and sympathy with them. There was a political dimension to that. Take Konstantin Babitsky, who was at the (1968) demonstration – an absolutely straight person. But I also knew people who had spoken about the horrors of soviet power, who had already decided to leave.

The dissidents were more concerned with freedom than conscience. I think that the current dissidents are in a difficult position for that reason. It was a struggle for political freedom. There were dissidents who were interested in religious questions. I knew Irina Ratushinksaya when she was a young lady. The organic dissidents did not always insist on people following their position. But the political dissidents were inclined to assume that everyone should be doing what they were doing.

I did not feel able to leave the country. My children have gained residential status in Australia. I don't want to go there. My place is here.

I thought it was a devilish system even in the 1960s. Because it takes from a person his personal behaviour and tries to use the individual for its purposes. There was a worked-out system of temptations. Do you want to live and work? Then you have to act by certain rules. And sometimes not a lot of rules. Stalin demanded that we shouted death to enemies of the people. But the Khrushchev era, what was demanded was softer. But the devilish element remained.

As soon as Gorbachev opened the floodgates, even slightly, it was already impossible to return. Zyuganov has not real perspective. He, unlike Lenin, tries to appeal to human values. Kovalev's position seems to be very weak – that we should support neither Yeltsin or Zyuganov, but must prepare for a new constitution. There are never ideal rulers. The death of Alexander II was a catastrophe – our inability to accept such rulers was terrible. I don't love Yeltsin but he is the best bet.

In Russian literature, not all are believers – take Chekhov for example. But I think to read and understand Chekhov is very important for an understanding of conscience. Conscience belongs to everyone. And it is important not to live in a country that requires you to act against your conscience.

I remember another experience. There was a Party committee to discuss the Volpin matter. You could not do anything. It was disgusting. There was a break. Everyone went into the corridor to smoke. I could see that most of these people were normal people with normal reactions, but when they were together, conscience was absent and taken away by the Party. It was a kind of mechanism. When a person gets into the Party structure, he has either to suppress his conscience or say he won't go along with this anymore. It is a difficult choice to say in one moment that I will change my whole life.

In 1984, I was thrown out of the Party when my Catholicism was discovered. Prior to that I had been called to Lefortovo for a discussion with the KGB. It was not too frightening. It was not a hysterical episode. But in the Party discussions there was more hysteria. How could I be a member of an illegal religious sect? I was not in the underground. People said terrible things at the Party committee. They gave the impression that they had to participate in this and say something horrible. I myself do not think that a communist should be a Catholic, and if I had been absolutely honest, I would have applied to leave. I was afraid.

To leave the Party was worse than not to be in it at all. You would lose everything. I was not a Party functionary. I knew a lot of decent Party members. To stay in was a problem, but I decided to operate like that. It was not an ideal decision. It ws not the worst variant. It would have been worse to participate in those terrible things. I rather used the situation to try to help people. I was called into the Party committee to discuss Volpin's departure.

I have not told you about things that I am ashamed of, which are more personal. I do know people who managed to avoid complex situations, but I am not sure that from a religious point of view that is quite the right approach. They did not help people.

There can be many doubts. But I did not think that any Catholic should doubt that confession and repentance take away sin. If I did not believe that I would always be in a state of helplessness. Do you know a great sin and a shameful sin can be different? Often the shameful ones are not the worst. It happens that you are not ashamed of murder, but of petty theft. The same can remain even after confession. But then it no longer drives you.

In 1968, after the invasion of Czechoslovakia, I sent to the country as part of a delegation to renew contacts with the intelligentsia. I did not want to go. I applied to go on holiday, but they said that if I did not go, I would lose my job. It was cowardice. I valued my work. The Czechs saved me, Some of them I knew. During the conference, they asked me what I thought in the corridor. After that there were good relations. I said what I thought. They did not tell anyone what I thought.

I did not knowingly compromise when I entered the Party. I would not say that I wish that had not happened. I am ashamed of my stupidity. I was thrown out of the Party in 1984. I know people who waited for the right moment to leave the Party, until the summer of 1990. Repentance is always needed., but all this has gone on for a long time in Russia. There were different periods. It is a pity that the Khrushchev speech was closed. The Brezhnev era was not cruel – you could live. It is always harder to repent for stupidities.

The problem of research is to combine sharpness with maintaining a real flow of life.